

НА БЕРЕГУ

Вынырнув из леса, дорога вела по берегу озера недолго: каких-нибудь триста-четырееста метров, и она опять вводила в заросли и снова начинала петлять, взбираться на холмы, скатываться в ложбинки, следуя то ли не слишком очевидной логике ландшафта, то ли ещё менее понятной прихоти проложивших её людей. И только вдоль озера она бежала прямо, прижатая к самой кромке воды всё той же неумолимой чащей.

Это была одна из тех просёлочных дорог, которые весной, ещё по грязи, почти непроходимы, но к лету подсыхают и становятся твёрже асфальта, так что ни сорная трава, ни подорожник не растут на её колеях. Зато всё узкое пространство между колеями бурно зарастает мать-и-мачехой и высокими луговыми травами, редкими в тесной лесной глуши. Случайные трактора, с треском и грохотом проносящиеся по дороге, такой траве не помеха, а пешие путники и подавно. Впрочем, люди в этих местах появляются нечасто. Тем неожиданней оказалась встреча двух пешеходов, случившаяся здесь на исходе лета, жарким августовским вечером, когда застывший знойный воздух до того придавил землю, что всё движение остановилось, всё замерло в напряжённом безмолвии, проникнутом отдалённым предчувствием грядущей осени.

Первым на дороге появился коренастый мужчина лет пятидесяти. Он медленно брёл, погружённый в задумчивость, осторожно ступая босыми ногами по нагретой солнцем колее. В одной руке он нёс пиджак от своего серого городского костюма, в другой – потёртые кожаные полуботинки. Очутившись на берегу озера, мужчина очнулся от своих мыслей и огляделся вокруг. В ту же минуту его серьёзное лицо прояснело, озарилось спокойной, рассеянной улыбкой. Он не спеша поставил полуботинки на обочину, а сам подошёл к поваленному дереву, лежавшему вдоль тёмного края леса. Усевшись на гладкий ствол, мужчина прислонился спиной к толстой ветке и поднял глаза.

Перед ним открылся вид на озеро. Отражения деревьев, толпившихся на противоположном берегу, купались в тёмной воде, плясали на водной ряби, блестели, ярко подсвеченные жёлтым солнцем, медленно катившимся в сторону заката. Шелестел прибрежный камыш, монотонно жужжал и стрекотал в траве невидимый хор насекомых. Постепенно все

краски, все запахи и звуки природы слились воедино, и человек начал погружаться в предвечернее марево, проникшее в загадочное пространство сознания, определяющее границу между бодрствованием и сном.

Спустя некоторое время, может быть час или полтора, на другом конце дороги, противоположном тому, откуда появился первый путник, показался другой человек. Это был крепкий, высокий мужчина с тёмными волосами, давно не стриженный и небритый. Одет он был совсем просто: в застиранную клетчатую рубашку и вытертые чёрные брюки, некогда принадлежавшие к костюмной паре. На его ногах были сильно поношенные спортивные туфли, очевидно выдавшие не один километр дорог, за спиной висел не то рюкзак, не то вещмешок, завязанный сверху растрёпанной тесёмкой. На вид ему можно было дать лет сорок. Густые, нахмуренные брови придавали его лицу выражение нарочитой суровости, но голубые глаза смотрели из-под бровей по-доброму, поминутно загораясь искорками внутреннего света, рождённого какими-то потаёнными мыслями.

Заметив незнакомого человека, дремавшего сидя на поваленном дереве, он остановился, снял с плеча вещмешок и бросил его на траву, окаймлявшую плотную стену леса. Потом с удовольствием, не спеша потянулся, вытащил из кармана портсигар, открыл его, но оглянувшись вокруг, неожиданно передумал курить. Вместо этого он зажмурил глаза, подставил лицо солнечным лучам и простоял так несколько минут, не шевелясь и не издавая ни звука.

Между тем горожанин, сидевший на дереве, открыл глаза и с удивлением уставился на незнакомца. Присутствие чужого человека ничуть не огорчило его, напротив, он был даже рад, что теперь рядом с ним оказалась ещё одна живая душа. Одиночество, которому он так радовался, выбравшись из города, стало тяготить его. Ещё не вполне очнувшись от полубытья, не вынырнув окончательно из глубин своего подсознания, впитавшего звуки и образы природы, он внезапно подумал: «Одиночеством нельзя поделиться, потому что оно никому не принадлежит!» Что это значило, он и сам не очень-то понимал. Впрочем, вскоре после полного пробуждения эта странная мысль смешалась с другими, более

понятными и забылась, как часто забываются даже самые яркие сны, отступающие перед натиском впечатлений нового дня.

– Добрый день! Присаживайтесь! – пригласил он всё ещё стоявшего на дороге незнакомца, указывая рукой на удобное место подле себя. – Отдохните, покурите.

Тот с видимым наслаждением уселся, вытянув ноги, давая им отдых после долгой ходьбы.

– И в самом деле, хотел было закурить, – ответил он, – да не показалось. Нехорошо курить в таком месте.

– Чем же это место такое особенное? – спросил горожанин не без некоторой иронии.

– Кто его знает чем, – произнёс незнакомец серьёзно, как будто и не заметил иронических ноток в голосе собеседника. – Небом, водой, землёй, жизнью. Бывают на свете такие места: оглянешься вокруг – будто в храм попал, и тотчас хочется скинуть с себя всё зло, побыть хоть минуточку чистым. Всё прошлое своё скинуть, потому что зло у людей всегда непременно в прошлом. Когда мы его творим, то не понимаем, что делаем, а в будущем и тем более зла для себя никто не желает. Но из прошлого-то, куда же его девать? Просто так не возьмёшь, да не выкинешь, как какой-нибудь сор из кармана. Приходится носить с собой. А в таких местах, как вот тут, например, не держится оно, зло-то, не приживается. Здесь можно от него отдохнуть немножко.

Горожанин ничего не сказал, только внимательно посмотрел на сидевшего рядом с ним незнакомца. А тот блуждал глазами по небу, по лесу и воде, и лицо его действительно выражало какое-то удивительное спокойствие и безмятежность.

Повинуясь внезапному импульсу, горожанин протянул собеседнику руку и представился:

– Сергей Иванович Голиков.

– Михаил, – ответил его собеседник, крепко пожимая протянутую руку.

– Что же вы, Михаил, издалека идёте? – спросил Сергей Иванович.

– Издалека, из-под самой Воркуты иду уже, почитай, третий месяц.

– Что, пешком? Дотуда же наверно тысяча километров с гаком!

– Пешком, пешком. Тысяча, говорите? Да нет, поменьше. Вот когда доберусь до С., тогда, пожалуй, больше тысячи получится.

– Что же у вас в С.?

– Раньше был дом, а теперь не знаю. Может быть, и нет уже дома, может быть, и С. уже нет.

– С. определённо есть, куда же он денется? Я, между прочим, работаю в областной администрации, так что мне приходится быть в курсе местных событий. Я бы услышал, если бы случилось что-нибудь особенное.

– В том то и дело, что нет ничего особенного, ничего такого необычного. Дома-то, может быть, ещё и стоят, да только что дома? Разве дома посёлок делают? Вся соль – в людях, а люди оттуда давно уже уезжают, куда глаза глядят. Если до сих пор все не уехали, значит, кого-нибудь из них там повстречаю.

– И вы тоже уехали?

– Уехал, да не по своей воле. Вот, из тюрьмы теперь возвращаюсь, домой, значит. Ну, а если моего дома нет, то займу какой-нибудь другой, отремонтирую. Пустых домов у нас там хватает. Буду работать на земле, или ещё какое-нибудь дело себе найду. Да вы не беспокойтесь, – добавил Михаил, заметив перемену в лице собеседника, – я ведь не бандит какой-нибудь, не за насилие был осуждён.

Сергей Иванович, однако, как-то внутренне подобрался, посуровел и насторожился. Он вдруг почувствовал неловкость и собирался уже выдумать какой-нибудь предлог, чтобы поскорее распрощаться с неожиданным собеседником и продолжить свой путь в деревню Сельцо, куда шёл, чтобы навестить свою мать. Но что-то, возможно его давнишняя неприязнь ко всякому беспорядку и, в том числе, к нарушению закона, а может быть, что-нибудь другое, словом, что-то заставило его спросить откровенно саркастическим тоном:

– Ага, значит, вы тоже невинно пострадали? Я слышал, все преступники именно так и говорят.

– Пострадал за дело, правильно пострадал, только не до конца. Некоторые думают, что если совершишь что-нибудь дурное, то стоит только раскаяться, и дело с концом. А я вот до сих пор не раскаялся, значит, нет мне прощения от людей. Мне оно, впрочем, и не нужно. Не претендую.

– Что же вам нужно?

– Покоя хочу. Хочу сам с собой в мире жить и во всём внутри себя соглашаться. Не получается! Зреет в душе проклятая злоба. И вроде бы стараюсь изо всех сил её унять, да куда там, не даётся! Ан, нет, вот сейчас вроде отпустило. Видно не зря я говорил, что это место такое, особенное.

– Кто же вас так обидел, и чем? – с явным недоверием поинтересовался Сергей Иванович.

– Да кабы знать! В том-то и штука, что никто. Я ведь не против людей злобу в себе ношу, а против себя, ну, и вообще, против несправедливости.

– Ах, вот оно что! – воскликнул Сергей Иванович. – Тут вы неоригинальны. У каждого человека найдётся повод восстать против несправедливости, настоящей или вымышленной, не важно. Но, обратите внимание, большинство-то всё-таки не восстаёт, и правильно делает, иначе получится форменный хаос. Нельзя обеспечить всеобщую справедливость, всегда найдутся обиженные и недовольные. Роль социума как раз и заключается в том, чтобы не позволять всем, кому ни попадя, вымещать свою обиду на окружающих. Для возмездия существует закон. Если вас, как вы говорите, осудили по закону, и даже справедливо, то чего же вы хотите? Закон должен быть универсальным, и если кому-то это не нравится, то придётся смириться, или уйти в лес и жить там вместе с медведями без правил и порядка.

– Да я не про себя толкую, – возразил Михаил. – То есть, не только про себя. Хотите, расскажу, как всё было? Иначе мне не объяснить.

– Ну, расскажите, – вздохнул Сергей Иванович, проявляя все внешние признаки безразличия. В действительности же его начало разбирать любопытство. И что ему было за дело до рассказней какого-то уголовника, ему, уважаемому человеку, государственному чиновнику, отцу семейства? «Наврёт, небось, чёртову телегу», – подумал он про себя, но не встал со ствола, а остался сидеть, как будто загипнотизированный летним вечером и странным впечатлением, которое производил на него этот необычный человек.

– Всё началось лет пять тому назад, – начал Михаил. – Жил я тогда в С. Место неплохое, хотя, конечно, ничего особенного в нём нет, всё точно такое же, как и везде: весной – грязи по колено, зимой – снегу по уши, зато летом – красота. Народу в посёлке жило немного, все друга друга знали, и все, почти без исключения, работали на тамошнем мебельном комбинате. Само собой, и я работал там же, столяром-краснодеревщиком, – профессия у меня такая. И всё бы ничего, только дела комбината с каждым годом становились всё хуже: сначала зарплату задерживали, иногда по полгода, потом цеха начали закрывать, сокращать рабочих. А без работы куда же? Люди, кто мог, стали уезжать. Побросали квартиры – не продать, оставили мебель и прочее имущество – дорого везти. Брали с собой только самое ценное, и с тем отбывали, кто куда. Некоторые улицы, особенно на окраинах, до того опустели, что идёшь, бывало, вечером, а вдоль дороги стоят рядами покинутые дома, тёмные, страшные, нежилые, молчат и смотрят на тебя пустыми окнами, вроде как с укоризной.

Конечно, уехали не все. Казалось бы, ну что сидеть, чего ждать? Лучше не становится, сколько ни сиди, ничего не высидишь. И всё же страшновато срываться с места, особенно если денег нет. Куда теперь без денег?

Многие из тех, кто остался в С., перебивались подсобным хозяйством, пенсиями родителей, пособиями. Вперёд надолго не заглядывали. Некоторые опускались окончательно, другие держались. За что? – Кто его знает. Думаю, за привычку быть собой, иначе, за что бы ещё? Жизнь-то такая – как бы это получше сказать? – первобытная: ни власти тебе, ни денег, ни закона. И ничего, обходились. Дом культуры закрыли, баню и медпункт – тоже, оказалось, что и без них можно, ничего. Остались только почта и школа. В эту-то самую школу и должна была пойти дочурка моей соседки, Анны.

Анна была не из местных, и выглядела она совершенно не так, как другие женщины с нашей улицы, и разговаривала по-другому. Вид у неё был строгий, серьёзный, к такой не подойдёшь этак запросто, чтобы покалякать о том, о сём. Одевалась она подходяще своему характеру: в белые блузки, костюмы, нарядные кофточки, и всё ей было как раз и

сидело на ней лучше некуда. Одним словом, городская. Как она очутилась в С., сказать не берусь, я её об этом не спрашивал, а она мне не рассказывала. Судьба свела нас случайно.

В доме, где я жил, было две половины, одна принадлежала мне, другая – Матрёне Ивановне, приходившейся мне двоюродной бабкой. Чтобы, как она выражалась, «округлить» свою пенсию, Матрёна Ивановна пускала к себе жильцов, сдавала им большую комнату, а сама обитала в крохотной каморке рядом с кухней, поблизости от печки. С течением времени жильцы селились у неё всё реже. Несколько лет кряду большая комната пустовала, потом, неизвестно откуда, появилась Анна с младенцем на руках и сняла её на длительный срок.

Матрёна Ивановна взяла с неё деньги раз, другой, видит, бьётся её жилища одна с ребёнком, как рыба об лёд, помощи ниоткуда не получает, и сердце её дрогнуло: «Живи, – говорит, – Аннушка, так, без платы, только по хозяйству помогай».

Анна поначалу упиралась, даже грозилась съехать, но потом образумилась и осталась. А уж Матрёна Ивановна к ней со всем сердцем, как к родной: и с ребёнком нянчилась, и готовила, и стирала, а когда на комбинате стали задерживать зарплату, помогала деньгами и продуктами.

Так прошло несколько лет. Как-то раз, зимой, поздно вечером, прибегает ко мне Анна и говорит: «Пойдёмте скорее! Матрёне Ивановне плохо!» А у самой в глазах слёзы, руки дрожат, губы трясутся. До тех пор я её в таком состоянии ни разу не видывал.

Прихожу на их половину. Свет везде зажжён, и так тихо, что слышно, как лампочки в люстрах звенят. Мне сделалось не по себе. Смотрю, сидит старушка на кухне, руки сложены на столе, голова опущена, и вид у неё такой, будто задремала на минуту и вот-вот проснётся. Стал я её будить, да какое там! Померла Матрёна Ивановна, тихо, незаметно, так же, как и жила.

Делать нечего, стал я сам за Анной присматривать. Помогал ей, чем мог. Соседи тоже её не забывали: нет-нет и подкинут чего-нибудь, дровишек, там, овощей, варенья. Трудно ей было поначалу, но мы понемногу приспособились, завели новые привычки, притёрлись друг к другу. И только всё утряслось, как случилась новая беда: на комбинате

начались увольнения. Анна работала в бухгалтерии, должность у неё была маленькая, поэтому её сократили в числе первых.

Тут уж ей совсем туго пришлось, и мне-то помочь ей было нечем, сам месяцами без зарплаты сидел. Пробедовали мы зиму, а как пришла весна, я расчистил большой участок земли на окраине посёлка, обнёс его забором, и стали мы с Анной земледельцами. Соседи подарили цыплят, – развели кур. Я ходил рыбачить, иногда уезжал на заработки в город, по плотницкой части. Так и перебивались, день за днём, но, верите ли, теперь мне кажется, что лучше, чем тогда, я никогда и не жил.

Работаем, бывало, на огороде вместе с Анной, и девчушка, дочка её, вместе с нами, бегаёт со своей лопаткой, ковыряет землю. Худенькая она была, в чём душа держится, всё лицо в веснушках, зато глазички – огромные, синие. Хохотушка такая, и не высказать! Как начнёт смеяться, так непременно дойдёт до икоты. И мы вместе с ней смеёмся, сами не знаем чему.

Вернёмся с огорода домой, поужинаем, и давай все вместе кукол строгать. А мне только того и надо: руки сами тянутся к инструменту, тоскуют по тонкой работе. Вырежу из дерева какую-нибудь фигурку, чародея, рыцаря или принцессу, и сидим с ней целый вечер, раскрашиваем. А то достанем из ящика другие игрушки и представляем, как они беседуют, кто у них добрый, кто злой, и как бы сделать так, чтобы добрые обязательно победили.

И вот, поди ж ты, так я сдружился с этой девочкой, как и со взрослыми никогда не дружил. Со взрослыми всегда опасаясь, что скажешь не то, или не к месту. А с ребёнком можно этого не бояться, он не осудит, нет ещё у него такого представления о собственной важности, чтобы быть судьёй другим людям. И обиду он скорее прощает.

– Что же вы не оформили ваши отношения? – спросил Сергей Иванович. – Усыновили бы девочку.

– Какое там! – махнул рукой Михаил. – Я, конечно, мало смысла в таких делах, но тут даже мне было понятно, что я ей не пара. Она из города, культурная, образованная, а я кто? – самый что ни на есть простой человек. Кабы не свёл нас случай, я бы с такой и заговорить постеснялся. Ну что я ей скажу? В компьютерах не разбираюсь, к серьёз-

ной музыке не приучен, даже книг, каких нужно, и тех не читал. А она, хоть и младше меня была чуть не вдвое, всё это, недоступное мне, понимала, как будто внутри у неё совсем другая мера всему, не такая, как у меня.

Нет, никаких таких особенных отношений у нас не было. Я относился к ней по-соседски, с уважением, а она, как будто, побаивалась меня, уж не знаю, за что. Позже, когда привыкла ко мне, бояться перестала, но не открылась, как открываются другие люди, о которых знаешь потом всю подноготную. Всё у неё было спрятано внутри, подальше от чужих глаз. Зайду к ней, бывало, смотрю: сидит в своей комнате, слушает музыку, улыбается чему-то. Чему? Окликну, она повернётся ко мне, и погаснет улыбка, и в глазах появится что-то такое, чего мне вовек не разгадать.

Пробовала она и меня к своей музыке приучать, но толку не вышло. Чистим, к примеру, картошку, или моем посуду, так она непременно включит что-нибудь симфоническое, не нарочно, а как бы между прочим. Ну, а мне что? – я в цехах на комбинате и не такого шума наслушался. Поморщусь только, а сказать ничего не скажу. Она, верно, заметила, что классическая музыка на меня не действует, и что же вы думаете, отступилась? Ничего подобного!

Как-то раз забегаю я к ней на минутку, теперь уж не припомню, за чем, а она причёсывается перед зеркалом, вроде как собирается уходить. Усадила меня на стул и говорит: «Посидите, – мол, – я на минутку отлучусь, а вы меня подождите. Я вам музыку заведу».

«Эх, – думаю, – опять нарвался на пиликанье!». Однако сижу, куда же деваться?

Анна включила музыку, выбежала за дверь, а я остался в комнате. И тут меня как будто пронзило насквозь! Слышу наш лес, который за полем, песню жаворонков в небе, шум ветра в траве, слышу мои собственные бестолковые мысли без слов, вижу картины, так и плывут они перед глазами одна за другой: всё моё прошлое, всё настоящее, всё такое родное и близкое! Нахлынуло на меня, не сдержался и заревел, как телёнок. Сижу и думаю: «Как же я без всего этого жить-то буду? А то, вдруг, помру, и ничего этого больше не увижу!» Так проняло! И тут как

раз вернулась Анна. Стыдно мне стало, закрыл лицо рукавом и бегом из комнаты на улицу, на свежий воздух.

Успокоился, отдышался, вернулся назад и объяснил Анне, что мне, дескать, мошка в глаз залетела. Она улыбнулась как-то странно, но ничего не сказала. У меня отлегло от сердца: не заметила! Ох, и глуп же я был!

Недели через две выбрал я подходящий момент и спрашиваю её: «Скажи-ка, Анна, а что это за музыка ты мне давеча заводила?»

Она покраснела до корней волос, словно я спросил невесть что неприличное. А ведь и вправду, только я вымолвил эти слова, как сам понял: не стоило спрашивать. Грубо вышло, по-мужицки. Это был наш секрет: она меня обхитрила, а я, вместо того, чтобы знать об этом и помалкивать, взял сдуру, да и брякнул, что было на уме.

«Это были «Симфонические танцы» Рахманинова», – ответила мне Анна и посмотрела на меня строго, с вызовом. Я опустил глаза, рассматриваю свои ботинки, а она вдруг как рассмеётся! У меня отлегло от сердца и так хорошо стало, так радостно сделалось на душе, что в ту минуту я был готов сделать для неё всё что угодно и простить ей всё, если бы было, что прощать.

Потом мы взяли девочку и все вместе отправились купаться на речку. Не было, пожалуй, в моей жизни более счастливого дня. Так как же я мог этакое-то счастье испортить? Начни я, положим, к ней свататься, а она возьми, и откажи, что тогда? Или согласилась бы только с тем, чтобы меня не обидеть. Как бы мы тогда смотрели друг другу в глаза? Стыдно было бы, неловко.

Ну, да не об этом теперь разговор. Кончилось лето, настало время собирать девочку в школу, в первый класс. Приготовили мы ей одёжку, купили, что следовало купить: ручки, тетради, портфель, только подходящего пальто не нашли. Решили, что до наступления холодов пальто-таки купим, в город за ним съездим, на худой конец, а пока тепло, пусть походит в курточке. И всё бы ничего, только осень, как назло, выдалась на редкость холодной. С самого начала сентября пошли заморозки, с утра выйдешь – иней на траве, к обеду дождик зарядит, да так и льёт до вечера. Простудилась наша девчужка, слегла с высокой температурой.

День проходит, два, три, четвёртый пошёл, а температура всё не спадает. Побежал я на почту, вызвал из города скорую помощь. Через восемь часов приехали врачи и увезли ребёнка в больницу. Анна уехала вместе с ними.

Я остался дома один. Волновался ужасно. На улице – ливень, вода хлещет в окна, колотит, как живая, словно просится внутрь, словно у неё так же тоскливо и холодно на душе, как у меня. Сяду – не сидится, хожу, хожу по комнате, стучу ногами по полу. И дождь стучит. Стучим, не достучимся. Прилягу – сон не идёт, всё думаю, вспоминаю Анну и девочку. Привык я к ним. Вот, вы сегодня говорили, что одиночеством нельзя поделиться, а...

– Когда это я такое говорил? – перебил Сергей Иванович.

– Не говорили? Стало быть, слышалось. Но, в общем, это, пожалуй, правда.

Анна с девочкой вернулись из города через две недели, приехали на попутной машине, обе худые, усталые. А мне-то радость! Растопил печку, разогрел суп, поставил чайник, бегаю, хлопочу вокруг них, а сам думаю: «Ну, теперь всё страшное позади, заживём по-старому!» Да, видно, не суждено было.

После болезни у девочки возникло серьёзное осложнение. Врачи прописали ей кучу лекарств и какие-то важные процедуры, для которых нужно было являться в больницу не реже двух раз в неделю. По хорошему, Анне с ребёнком следовало перебраться в город, хотя бы на время, месяца на три. Посчитали мы расходы на переезд, сумма вышла порядочная. А мы к тому времени так привыкли обходиться почти без денег, что и не представляли себе, где их можно раздобыть в таком количестве. Стали продавать овощи – никто не берёт, у всех своих полно. Попробовал я найти работу – ничего не вышло: не сезон, зима на носу, местные стройки и ремонты замерли, везде затишье. Даже занять, и то оказалось не у кого.

Ходил я, ходил по дворам, ничего не выходил. Начал уже подумывать, не переехать ли нам в город так, без денег, наудачу, будь что будет. Был бы я один, и задумываться бы не стал, а с ребёнком – страшно. И тут какой-то добрый человек посоветовал: «Пойди, – говорит, – по

такому-то адресу, там живёт антикризисный управляющий. Он теперь на комбинате вместо директора. Сам не здешний, из города, приехал недавно. Наверняка затеет ремонт. Спроси, не нужны ли ему работники».

Я тотчас туда. Стучу в дверь. Открывает какая-то женщина. Я сразу, без обиняков, спрашиваю:

– Нет ли у вас, часом, какой-нибудь работы?

– А что вы умеете делать? – отвечает она.

– По дереву – всё, что угодно!

Осмотрела она меня с ног до головы. Я – ничего, стою, глаза опустил, жду.

– Ну, пойдёте, – говорит, – тут у нас дверь плохо закрывается, исправьте, пожалуйста. Только много денег я вам не дам. Триста рублей хватит?

«Триста, так триста! – думаю я, – всё лучше, чем ничего».

Осмотрел дверь: работы от силы на полчаса. Сходил домой за инструментом и мигом всё исправил, заодно смазал петли, перебрал замок, чтобы всё было как следует.

Поглядела хозяйка на мой инструмент, на работу, и говорит: «Думала дать триста рублей, но вы тут на все пятьсот наработали!» Отпирает комод и вынимает оттуда тысячную бумажку. Сдачи у меня не нашлось. Тогда она снова открыла ящик и стала копаться в нём в поисках пятисотрублёвки. Заглянул я внутрь, а там целая куча денег, всё больше зелёные, тысячные купюры и красные, пяти тысячные. Мелких, однако же, не нашлось.

– Ничего, – говорю, – я к вам завтра зайду, мне не к спеху.

– Приходите, – отвечает, – муж приедет, ещё какую-нибудь работу для вас найдёт.

Иду домой, а в мыслях всё эти пяти тысячные купюры прыгают: вот бы мне таких, хотя бы парочку! Прибавил бы их к тому, что было отложено на текущие расходы, хватило бы и на переезд, и на то, чтобы комнату в городе снять. А я бы и без денег обошёлся, не стал бы платить за электричество, покупать чай, табак и сахар. Ничего, не барин, прожил бы как-нибудь, а то и сам уехал бы в город, на заработки, одному уже не

страшно. Главное, чтобы был какой-нибудь задел, а то пока найду работу, пока получу первую зарплату, не одна неделя пройдёт.

На следующее утро, ещё до рассвета, я снова пошёл к дому управляющего, но в дверь стучаться не стал. Сел на брёвнышко, лежавшее неподалёку, закурил. Помню, промёрз до костей, такая, знаете ли, стужа была, что впору валенки надевать.

В восьмом часу утра из дома вышел мужчина в чёрном пальто, видимо, сам управляющий, сел в машину и укатил.

«Хорошо», – думаю, а сам всё сижу.

Хозяйка показала около десяти часов. Она тоже уселась в свою машину, развернулась в сторону города и уехала. Я только того и ждал. Встал, размял ноги, подошёл к двери, поковырялся в замке. Замок оказался старым, открыть его было плёвым делом. Отпер дверь, зашёл в прихожую. В этот момент на улице выглянуло солнышко, и весь дом осветился, как будто изнутри, а не снаружи. Стою, сердце колотится так, что в голове стучит. Засомневался, взялся за ручку, чтобы выйти наружу, но не вышел. Сам не знаю, что меня тогда удержало, какая нелёгкая сила. Повернулся, прошёл в комнату, отомкнул ящик, схватил деньги, сколько схватилось и бегом на улицу, даже дверь с перепугу забыл за собой запереть.

Прихожу домой и сразу к Анне: «Вот, – говорю, – держи деньги, только где взял, не спрашивай, не скажу. Ни к чему тебе это знать. Поедем в город, снимем там комнату. Ты будешь за дочкой ухаживать, а я пойду работу искать».

Пересчитали бумажки, оказалось одиннадцать тысяч рублей – целое состояние в нашем тогдашнем положении. Она, конечно, стала приставать, выпытывать: где, да откуда. Я – молчок! У меня на уме совсем другое: надо идти к управляющему за вчерашними пятьюстами рублями, иначе, если не явлюсь, не ровен час, заподозрят неладное. Идти-то надо, а ноги не идут, ну что тут делать?

Весь день я промаялся в нерешительности, а к вечеру поплёлся к бабке Марусе, просить у неё стаканчик самогона для храбрости. Пакость, скажу я вам, несусветная, тем более с непривычки – я ведь непьющий. Храбрости у меня не прибавилось, зато стало ужасно муторно на душе, в

голове зашумело, ноги начали заплетаться, но всё-таки соображение осталось, что идти-таки надо.

Собрался с духом, пошёл. На дворе был вечер, темно было по-осеннему, грязь подморозило. Помню, как хрустели под ногами замёрзшие лужи, как каркала где-то в темноте припозднившаяся ворона. А в остальном – такая тишина, что повесь в воздухе топор, он так и останется висеть на месте, словно время остановилось. И мысли мои остановились. Иду, а куда и зачем – не понимаю. Но всё-таки пришёл куда следовало.

Стучу в дверь. Снова открывает хозяйка.

– А, – говорит, – это ты, голубчик! Ну, заходи!

Вхожу в комнату, а там сидит участковый, и на столе перед ним разложены деньги, вынутые из открытого ящика комода. Хватились, выходит, одиннадцати-то тысяч.

Хозяйка сейчас же набросилась на меня, как ястреб:

– Ты деньги украл? Признавайся! Люди видели, как ты возле нашей двери вертелся. И надо же, я ведь сама ему этот ящик показала! Думала, приличный человек, а он – такая же пьянь, как и все остальные в этом богом забытом посёлке! Нет, вы только понюхайте, как от него сивухой разит! Так будешь признаваться, или нет?

– Буду, – отвечаю. – Я взял деньги.

Что проку было отпираться? Там, на ящике, скорее всего, остались отпечатки моих пальцев, к тому же, как сказала хозяйка, кто-то видел меня возле двери. По правде сказать, я не рассчитывал, что кто-нибудь хватится этих денег, поэтому не очень опасался, думал, в такой толстой пачке банкнот никто не заметит пропажи нескольких бумажек. Неужто считать будут?

Посчитали.

После моего признания участковый взял дело в свои руки и говорит:

– Верни деньги, тогда хозяева тебя простят, разойдётся с миром, – а сам при этом смотрит не на меня, а на жену управляющего, и выражение лица у него такое, как будто он нисколько не сомневается в её великодушии.

Денег у меня с собой, естественно, не было, а то бы я их отдал, не выдержал бы. Но деньги были у Анны, поэтому путь назад был отрезан. К тому же, мне в голову внезапно пришла ужасная мысль, что Анну, чего доброго, посчитают моей сообщницей, и тогда уж ей точно несдобровать. Этого я никак не мог допустить. Да и пьян был, и неопытен в таких делах, не предполагал, что меня действительно станут судить за такую-то малость.

Подумал я, насколько был в состоянии, раскинул мозгами и отвечаю участковому: «Так и так, отдать не могу, так как все эти деньги я только что самолично пропил».

Хозяйка завопила, запричитала, стала меня укорять, но я её больше не слушал.

– Тогда мне придётся взять вас под стражу до выяснения обстоятельств дела, – сказал участковый.

Наручники на меня надевать не стали, просто вызвали машину из города и увезли меня из С. С тех пор я не был дома год, восемь месяцев, неделю и ещё три дня, всего шестьсот пятнадцать дней и вот уже двадцать три часа.

– А как же Анна? Неужели она не пыталась вернуть деньги?

– Как не пыталась? На следующий же день побежала отдавать. Сам я при этом, разумеется, не присутствовал, но соседи мне писали, рассказывали. Пришла она к жене управляющего, а та её и на порог не пустила, кричала, что нечего за хахалю своего, алкоголика заступаться, дескать, сам виноват, пусть теперь расплачивается. А протянутые Анной деньги взяла, скомкала и бросила с крыльца прямо на дорогу. Думаю, тогда часть этих денег и потерялась. Анна – женщина гордая, но всё же кинулась собирать бумажки, да видно нашла не все. Потом, когда дело дошло до суда, она приносила деньги, давала показания, но суд ей не поверил, потому что она выложила на стол только восемь измятых тысячных билетов вместо одиннадцати. Да и я все её слова отрицал, дескать, никаких денег я этой женщине не давал, она же пытается меня выгородить по доброте душевной. Так и не приняли во внимание её показания и назначили мне полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Тогда, на суде, я видел Анну в последний раз. Она приходила меня навещать, но я отказался от свидания. Горько было бы мне на неё смотреть. Подвёл я её. Лучше б уж не встречался я с ней, нашла бы она тогда настоящего мужика, способного позаботиться о ней и ребёнке. А я только отвлекал её и лишал такой возможности, а под конец и вовсе бросил в самый тяжёлый момент. Не могу себе этого простить. Виновен, и никакое раскаяние тут не поможет. Виновен и в смерти девочки: она ведь умерла, и года не прошло после того, как меня забрали. Видимо, тяжко им пришлось, а где был я в это время? – сидел себе в тёплом бараке под Воркутой и горя не знал, и сыт был, и одет. Вот и скажите, можно ли спокойно жить с сознанием такой вины?

Михаил помолчал минуту-другую. Он смотрел куда-то вдаль, потерявшись в своих невесёлых раздумьях. Потом, как будто очнувшись, продолжил прерванный рассказ:

– За всё время моего заключения Анна написала мне только одно коротенькое письмо, в котором сообщала о смерти дочери. Потом уже соседи мне писали, что на следующий день после похорон она уехала из посёлка и больше уже не возвращалась. Где она теперь, не знаю, а если бы и знал, всё равно не смог бы показаться ей на глаза. Иногда мне снится, что мы встречаемся с ней на улице, случайно, и я просыпаюсь в холодном поту, потому что трус, боюсь своего стыда, боюсь повиниться, а ещё пуще того боюсь, что простит. Пока я есть здесь, непрощённый, то ещё остаются силы жить. Не будь этой обиды, этой злобы на самого себя, что останется? Только серость и пустота.

Когда сидишь в заключении – это я теперь по себе знаю – душа постепенно становится похожей на заброшенный чердак: всюду хлам, всё покрыто пылью. Чистого, простого света там мало, горизонта ниоткуда не видно. Мир сжимается вокруг тебя, как обруч вокруг бочки. Ничего не меняется, всё одно и то же, те же зелёные двери, те же пятна и неровности на стенах и потолках, и ничего красивого вокруг, так что хоть и есть глаза, а глядеть ими ни на что не хочется. Поневоле начинаешь смотреть внутрь себя, глубже и глубже, и тут уже недалеко до отчаяния, потому что сколько же надо иметь внутри себя глубины, чтобы не до-

браться до дна, не упереться в последнюю стену, дальше которой человеку видеть невозможно.

Мне повезло. На зоне была часовенка, перестроенная из старого склада, квадратная, с плоской крышей, словом, никакого вида, ни изнутри, ни снаружи. Меня сразу же к ней приставили, чтобы я помогал батюшке приводить её в порядок, как-никак, по дереву я не последний специалист. Так я над этой часовенкой все полтора года и проработал. Крышу поднял куполом, как полагается, смастерил большой деревянный крест на верхушку, покрасил его золотой краской, сделал новые двери, резные ставни. Больше всего возился с иконостасом. Только, думаю, закончил, как глядь – а ведь можно ещё лучше сделать, и опять переделываю. Хотелось дать немного красоты тем, кто в этом нуждался. Батюшка меня даже ругать начал:

– Не гордыня ли тебе покоя не даёт? – спрашивает, – не от неё ли места себе не находишь?

– Не от неё, – отвечаю, – боюсь остаться наедине с собой.

Батюшка – хороший человек, понял, что я пытался ему сказать. Мы с ним близко сошлись и всё спорили. Он надеялся меня в свою веру обратить, прощение сулил.

– Покайся, – говорил, – я ведь вижу, что неладно у тебя на душе. Ежели примешь Бога, уверуешь в него, он тебя простит. Нигде более в этом мире не найдёшь ты такого милосердия, как милосердие Божие.

– А если я не хочу прощения? – спрашивал я его.

– Значит, не желаешь раскаяться, и тогда ты либо закоренелый злодей, либо не чувствуешь за собой вины.

– Вину-то чувствую, – отвечаю, – да только, думаю, нечестно будет её на Бога перекладывать: совершил грех, замолил, получил отпущение, и вроде как прощён. А как же те, кому я этим грехом навредил? Кто их утешит? Кто компенсирует им причинённое мною зло? Выходит, не на кого им рассчитывать для восстановления справедливости. Вместо того чтобы прощать, Бог меня наказать должен, чтобы впредь неповадно было.

– Разве для того, чтобы быть праведным, – возражал батюшка, – непременно нужно быть наказанным? Бог действует не наказанием, а поощрением праведников, он обещает им любовь и жизнь вечную.

– И тут, – говорю, – не согласен. Какой же праведник совершает праведные поступки, надеясь на награду? Пристала ли праведнику такая корысть? По-моему, праведник это тот, кто живёт по совести от простой чистоты душевной, и не ждёт за это благодарности ни от Бога, ни от людей.

Часто мы с ним этак спорили. Он приносил мне книги, в основном – Достоевского. Церковные не давал, чувствовал, что мне они будут неинтересны. А романами Достоевского, видимо, хотел наставить меня на путь истинный. И знаете что? В школе мне приходилось читать те же самые книги. Очень я их не любил. Мне тогда казалось, что в них говорится о невесть какой далёкой эпохе, о невесть каких странных делах, которые в наше время и понять-то нельзя. А тут взял, начал читать, и вижу, что написано про нашу теперешнюю жизнь: всё те же проблемы, всё те же мысли. То ли мы, все вместе, вернулись на сто лет назад, то ли я на сто лет вырос.

Взять, хотя бы, «Братьев Карамазовых» – всё то же противоречие между законом и справедливостью. Что важнее? Я думаю, когда человек осуждён одним только законом, оно легче, а когда вдобавок придавлен справедливостью, приходится нести двойное наказание.

Вот и вы тоже говорите, что нет, дескать, никакой справедливости, что она невозможна, что всё это предрассудки. Раз побеждает сильнейший, значит правда на его стороне. А я вам вот что отвечу: если нет справедливости, как же мы чувствуем обиду? Ведь чувствуем, да ещё как! И злимся на обидчика, когда без справедливости должны бы подставлять другую щёку.

В общем, вышел я на волю, а как будто и не выходил. Не отбыл, значит, своего наказания за преступление против справедливости. И знаю, что надо бы выйти, что пора, но не получается. Не к чему возвращаться, так пусть хоть злоба тащит меня вперёд. Впрочем, разве может человек жить одной только злобой, хотя бы и на себя? Кому от такой жизни какая-нибудь польза или удовольствие?

Одна надежда, что со временем наполнится моя пустота такой вот озёрной шириной, простором полей, зеленью лесной. Многое я пропустил, несколько лет, и зим, и вёсен. Хочется теперь наверстать, послушать птиц, с простыми людьми потолковать. Любому насекомому хочу радоваться, как другу. Авось, смогу.

Михаил встал со ствола, чтобы размять ноги. В воздухе уже пахло вечером. Небо на востоке потемнело и покрылось облаками. Дневной зной начал отпускать землю. Стало свежо, запахло тёплой пылью и полыньёю, откуда-то издалека прилетел терпковатый аромат дыма.

– Что ж, пожалуй, пойду, – сказал Михаил. Дотемна уже в Селифонтово не поспею. Не беда, заночую где-нибудь в стогу.

– Неужели вы всё время по стогам ночуете? – поинтересовался Сергей Иванович.

– Зачем же по стогам. Люди в деревнях пускают переночевать, кто в сарай, кто на чердак, а кто и в дом пустит. Вот, давеча, в Сельце, Зинаида Ивановна меня приютила. Два дня у неё жил, крышу чинил. Она меня и кормила, и денег немного дала. «Бери, – говорит, – у меня сын в городе, денег достаточно присылает».

– Так это же моя мама! – воскликнул Сергей Иванович.

– Хорошая женщина, душевная.

– Значит, и дальше на своих двоих? Давайте-ка лучше я дам вам денег на автобус.

– Не надо денег, что вы! – замахал руками Михаил. – Я нарочно иду пешком, потому что люблю чувствовать землю под ногами.

Они пожали друг другу руки, и Михаил пошёл своей дорогой. Сергей Иванович покачал головой, взял ботинки и отправился к матери, в Сельцо. А Михаил, выйдя на лесную дорогу, чему-то вдруг улыбнулся, достал свой портсигар, зажёл сигарету, с удовольствием затянулся и зашагал прямо, не оглядываясь.

Август 2014.